

Я. П. де Бальмен

ОКНО И РАССВЕТ

Повесть 1836

*Не сбылись, мой друг, пророчества
Пылкой юности моей.
Горький жребий одиночества
Мне суждён в кругу людей!*
Рылеев

– 1 –

– Да! братец! скажу правду: эта девушка мне нравится. Какой-то голос говорит мне, что, быть может, это сердце ещё узнает то отрадное чувство, которое так давно не волновало его... Согласись со мной, что она мила, умна, и что более всего меня трогает – она любит меня, меня, который не оказывал ей ни особенного внимания, ни малейшего знака, чтобы она могла иметь повод заключить что-нибудь о моих чувствах. Видел ли ты этот живой детский румянец, вспыхивающий на её щеках всякий раз, как я подойду к ней!.. Нет! брат! говори что хочешь, а я скажу, что она мне нравится, и что я постараюсь полюбить её. Это так отратно думать.

– От души желаю, чтобы ты не ошибся в своих чувствах, я считал любовь благодеянием провиденья, очистительным огнём, в котором сердце человека освобождается от посторонних чувств, часто унижающих благородство его первоначального состояния и назначения. Но согласись со мной, любезный друг! можно ли усовершенствовать металл уже раз очищенный плавлением, подвергая его в другой раз действию огня? Положим, он и растопится, но застынет и будет тот же, как и прежде, в то время как после первого опыта он не примет уже более первоначального вида грубой руды.

– Перестань!.. разве я тебя не просил тысячу раз, не говорить никогда мне об этом... ведь я понимаю, к чему клонится твоя диссертация... Жестоко, право, жестоко так поступать и ещё в какую минуту?.. Когда душа, измученная долгою болезнью, хочет отдохнуть, когда мрачные зимние облака моего небосклона кажутся готовыми расступиться и пропустить луч весеннего солнца!..

Так говорили два уланских офицера в небольшой горенке при тусклом свете нагоревшей свечи. По всему видно было, что они

только что возвратились из гостей. Мундиры висели на спинках простых некрашенных стульев, сабли стояли в углу со всем прибором портупей и густых <...> <...> на шёлковых лентах, блестящие эпoletы и махровые кисти <...> <искрились> на красных лацканах, переливаясь <...> с блёстками при колыхании пламени вокруг длинной чёрной светильни. Всё доказывало, что жители мужицкой избы, куда мы покорнейше просим читателя взойти на минутку, провели целую ночь на бале, целую ночь, потому что рассвет начинал уже брезжиться сквозь замороженные и снежными цветами разрисованные стёкла.

Штаб-ротмистр Бурный лежал на постели, подпирая голову назад сложенными руками, весёлая улыбка, радостно освещавшая лицо его, сменилась обычным пасмурным видом, глаза, горевшие живым огнём надежды, потухли, устремившись недвижимо в потолок.

Корнет Знаменцев замолчал, досадуя на своё минералогическое сравнение, которое прогнало весёлость его товарища и снова призвало печальную думу, не оставлявшую его с тех пор, как он начал его знать по лавках гимназии.

Оба они воспитывались в одном заведении и были там ещё дружны, хотя Бурный шёл несколькими классами выше Знаменцева, и <впоследствии> при свидании, уже гораздо после рассеянья выпуска Бурного, они дали друг другу слово служить вместе, то есть, армейским языком, первый завербовал второго в полк, где он уже служил несколько лет офицером. Так и сбылось.

Сколько не знал улан Знаменцев Бурного, всегда видел его в одном расположении духа, всегда мрачного, пасмурного. Прежде он не мог разгадать его, под студентским мундиром Бурный был непроницаем. Никогда ни одно слово не изобличало настоящих чувств его, — он стыдился, боялся, чтобы они не высказались, ему казалось, что люди осмеяли бы его. Он хранил их как святыню в глубине души.

После уже, когда служба свела его опять со Знаменцевым, он ему открыл всё, всё минувшее, настоящее, все несбывшиеся надежды, тщетные ожидания, моральную смерть духа. Впрочем, таить было нечего, они были земляки, а там, на далёкой родине, гласно, перед целым светом разыгралась горестная драма его молодости.

Первый раз после этого бала был Бурный в таком расположении духа, так откровенен, даже, можно сказать, так радостен.

В душе восхищался Знаменцев, но не знал, прочна ли эта перемена, и неосторожное слово снова привело его в сомненье.

Теперь два слова о Знаменцеве. Это был молодой человек пылкой, с блестящим воображением, с восторженной душой, поэт, способный ко всему высокому, романтическому, влюбчивый, как все молодые поэты, для которых душевное страдание так же необходимо как вдохновение в часы их мечтаний, но которые так же часто меняют своих вдохновительниц, как размер своих стихов.

И вдруг Бурный вскочил, и лицо его снова было весело.

– Нет, брат! что ни говори, – сказал он, – а мне эта Лиза очень нравится... Она так мила, так хороша, что, право, я вспоминаю о ней с удовольствием и люблю думать, что её послало небо нарочно, чтобы разбудить, излечить это бесчувственное сердце. Заметил ли ты, как ей хотелось танцевать со мной мазурку, и как ей был досажен этот франт, который упросил её прежде? Клянусь тебе, в моих словах нет ни малейшего самолюбия. Явное её расположение ко мне всякой заметит. Она и не старалась скрыть его. Право, она мне очень нравится.

– Ну и что же? ты сказал ей это?

– Вот славно!.. не успел ещё познакомиться хорошенько, а он уже толкует об изъяснении!.. Скор же ты, братец!..

– А когда намерен изъясниться?

– Я не стану ей говорить ничего. Разве я сказал тебе, чтобы я любил её? Она только мне нравится, а до любви так далеко... Может быть, это одни грёзы, а существенность никогда не суждена. Нет, я тогда только буду говорить, когда испытаю себя, когда это чувство, мне так знакомое, проснётся в груди... но нет! это невозможно!.. это не любовь, нет! Я не скажу Лизе ни слова!!!

Он замолчал и облокотился на стол, склонив голову на руки. Дверь отворилась, и огромного роста кирасирский офицер ввалился в комнату.

– Здорово! давно ли вы приехали? куда вы так скоро понеслись? – сказал он, сбрасывая шинель и кидая каску на стол. – Эй! Федька! дай мне трубку... ну! живей! Устал как собака и два часа не курил... скорей же!

Это был корнет Бурный, брат штаб-ротмистра, служивший вместе с ним в одном полку, но переведённый при производстве в кирасиры на вакансию, как это часто случается. Всеслав Бурный был настоящий идеал русского офицера во всём значении этого слова. Он был храбр, благороден выше границ, если они только могут быть в благородстве, то есть не только какой-нибудь предосудительный поступок никогда не осквернил его мысли, но и в других он приводил

его в бешенство. Он был одарён умом твёрдым, основательными и сильными чувствами, которые никогда не показывались наружу, и всё это было скрыто под оболочкою какой-то суровости, даже грубости и простоты. Старые товарищи, несколько понимавшие его, часто говорили: «Всеслав, ты, брат, не так прост, как хочешь казаться, ты напускаешь такую блажь, но не проведёшь нас. Признайся, что и ты так же способен изнывать, как мы все». «Я не знаю, что вы чувствуете», – отвечал обыкновенно Всеслав, но всегда старался отклонить разговоры о любви и уверял, что это чувство не должно быть доступно воину, и когда, смеясь, его уверяли, что он скоро влюбится и будет вздыхать, то он указывал на Знаменцева, приговаривая: «Нет, нельзя – вот этот забрал всю любовь нашего эскадрона. Пусть же он себе и квасится». Так называлась в полку постная рожа влюблённого поэта, а невлюбленной никто не видел.

Физика Всеслава соответствовала морали. Огромный рост при прекрасном сложении, открытое, благородное лицо с сильными резкими мускулами, правильно проведёнными и придававшими ему грозный вид, когда что-нибудь его смущало, – вот зеркало чистое, неомрачённое, в котором отражалась сильная высокая душа его.

Теперь он приехал погостить к своим, и так как все любили его, то он беспрестанно переходил из рук в руки, и даже сегодня утащил его с собой старый эскадронный командир.

– Ну что, Всеслав! – сказал брат, – теперь ты не раскаиваешься, что поехал с нами, доволен ли ты сегодняшним днём?

– Доволен, доволен! Знаете ли, ребята, что обед был чудесный, только слишком долгий, а ужин ещё лучше. Повар-то должен быть лихой.

– Полно же тебе по-старому блажить, – перебил Знаменцев, – признайся-ка лучше, не занозил ли кто твоего сердца?

– Ну, так! А ты, брат, как я вижу, не покался, всё одно досадно на уме – любовь, то есть квас! Ты думаешь, я не заметил и не понял твои движения, огненные взгляды на эту <...>, на эту молодую графиню. Да! А что?.. не угадал, небось?

– Вы везде на меня нападали общим хором...

– Толкуй! а уж не так-то мила твоя графиня, есть недостатки. – И Знаменцев с неудовольствием лёг на постель и отвернулся к стене.

– Ну, спи же, пиит! И нам пора, – сказал Всеслав, – покойной ночи, брат!

– 2 –

– Сыграйте что-нибудь ещё, позвольте душе отдохнуть в этих звуках, которые я так любил и так редко слышу. Я не музыкант, но чувствую музыку наравне с поэзией!

Это говорил Бурный, облокотясь на фортепиано, у которого сидела Лиза Ельнева и смотрела не на ноты, а на него.

– Я, право, больше ничего не помню, – отвечала она, улыбаясь, – все одно вертится на уме. Этот кадрили, который вы, помните, хвалили.

– Так сыграйте же его, он мне и теперь нравится, напоминает приятные минуты, проведённые в кругу людей, которые мне пришлось по сердцу, минуты, когда мне было легко на душе.

– Вы говорите это, но позвольте мне сомневаться. Тогда вы были так задумчивы.

– Быть может, но после мне стало легко. Я был убит судьбою. Я не знал радостей, какой-то мрак облекал мою душу, но с тех пор как будто всё стало светлей. Эта минута была отрадна. Она открыла мне новый мир, мир прелестный.

Какое-то неведомое чувство, но чувство <такой> пустоты сжало его сердце. Он замолчал, чтобы не сказать того, что душа его отвергала. Да!.. он понял, что чувство его к Лизе одно предпочтение, но не любовь, и, он замолчал. Лиза тоже чувствовала. Ей слышалось признание. Она упивалась им.

– Как ваши слова отрадны! – сказала она, смотря на него с любовью. – О, я никогда не забуду вас. Я так вас люблю!

Она его любит! Она говорит это! О, кто, кто бы ни был чувствителен? Чьё бы сердце не заговорило в её пользу? Он улыбнулся, взглянул на неё, но глаза его не выразили того необыкновенного чувства, которым разгорались некогда в другие времена. Свет их был тих, как солнце майского утра, но мог ли сравниться с молниями минувшей грозы... Конечно, я люблю прекрасное утро с его безоблачным небом, росистыми слезами на зеленеющем ковре природы, с золотистым цветом его радостного солнца, но в чёрных тучах, в свисте ветра, в бледном ослепительном зареве молний, в раскатах полуденного грома я читаю целую поэму.

– 3 –

– Что за чёрт? Где этот брат запропастился? Завтра же конное ученье, вот уж второй час, а его нет как нет. Это, право, выше всякого терпенья. Давно пора спать, всё равно разбудят рано, а он об этом

не подумает, заволочился совсем, никуда не годится, – говорил корнет Бурный, с трудом сопротивляясь сну, сидя у стола против Знаменцева, у которого уже трубка потухла в зубах, и глаза едва принимали <преломлённые> лучи свечи, <смешанные> с сиянием месяца, заглядывавшего в растворённое окно.

– И мне, признаюсь, жестоко спать хочется, – ответил Знаменцев, потягивая одну золу из толстого тернового чубука, – ну! да уже делать нечего, дал слово так надо ждать!

В эту минуту послышался галоп лошади на дворе и голос:

– Гей! вестовой! Кто-нибудь! возьми лошадь, да выведи хорошенько, сегодня и не думать поить до самого света. Завтра седлать Сокола, да разбудить пораньше. – И Бурный вошёл.

– Виноват, любезные друзья, – сказал он, – виноват, засиделся, вам было ложиться спать без меня, вперёд не буду брать с вас слова ждать меня.

– Оно бы лучше, – пробормотал кирасир, – на всё своё время, а моё уходит, не долго довелось гостить с вами, а ты и не посидишь со мной.

– Ты прав, брат, упрёк твой я понимаю, да! Я виноват перед тобой, но прости мне, я больше не поеду, давно бы пора! Но ты хочешь спать, я вас задержал напрасно. Прощайте, друзья!

И вскоре беззаботные корнеты захрапели наперерыв.

Долго ворочался Бурный на своей постели. Сон как будто бежал назло от него. Он вспоминал все подробности случившегося с ним, все слова, все измененья лица милой девицы, с которою проводил вечер. Часто образ её как бы прилетал улыбнуться ему. Однако же он был в забвении, и ничего не волновало его, не так как бывало прежде, когда в подобных случаях его пожирал огонь лихорадки, бред горячки, сумасшествие. И вот неясные образы начали смешиваться с лицом девицы, многочисленная толпа вилась перед ним. Он же не был на своей квартире – посреди огромной залы богато убранной, ярко освещённой. Музыка гремела, гости теснились, пары кружились в вихре котильона. Знакомые, но давно забытые звуки, отзывались в сердце, потрясали все его нервы.

Он сидел в дальнем углу возле мраморной печки, и взоры устремлены были на его даму, которую кто-то выбрал. Как эфирно голубое платье, как нежно порхали каштановые локоны вокруг лебединой шеи и груди.

Владимир не мог отвести глаз от этой очаровательной картины. «И она моя, – думал он, – она меня любит, и всё это принадлежит

мне. О! Если бы вся вселенная ополчилась против меня, не только те, которые умышляют нашу разлуку, и тут бы я достиг своей цели назло всему свету».

И вот она окончила тур и снова села возле него и улыбнулась ему. О! как улыбнулась, радостней улыбки нет более в мире – одна, только одна!

Когда рассветало, небо было покрыто тонкими, серыми, однообразными облаками. Против Бурного было отворено окно, и ветви растущего перед ним дерева колыхались от утреннего предвосходного ветра, тёмными пучками на бледном, беловатом плане рассвета.

– Софья, – говорил Бурный, – и так через два месяца судьба наша решится. Я выпрошусь из полка, приеду и тогда увезу тебя назло всем нашим злодеям, перед их глазами... не страшишься ли ты этого отчаянного средства, не сомневаешься ли в успехе?

– О нет! с тобой я ничего не боюсь. Я уверена в тебе, верно, ты всё предусмотрел, когда предлагал мне. Я на тебя совершенно полагаюсь.

– Уж будь покойна, что твоя доверенность в хороших руках. Видишь ли это окно? Эти колышущиеся ветки на рассвете? Может быть, через несколько времени подобное утро осветит нас на дороге среди вихря пыли, может быть, эти самые звуки этого самого котильона замрут в наших ушах среди стука колёс. Вот видишь в углу верный друг, верный спутник, защитник. – И он показывал на ясную блестящую саблю, отсвечивающую бледный луч догорающей свечи.

И вот всё снова смешалось, образы рассеялись в глазах Бурного. Очаровательная, упоительная музыка котильона перешла в резкие аккорды трубы, игравшей сбор.

Владимир проснулся. Лицо его было мрачно, пасмурно, глаза дико сверкали, что-то тяготило, угнетало его душу. Три года исчезли для него. Он ожил хоть в сновидении, в прошедшем, но и то сильно тревожило его.

– 4 –

– Я надеюсь весело провести время на этом бале, – сказал корнет Знаменцев, кладя на стол пригласительное письмо от помещика Р., – разумеется, и ты поедешь, Владимир?

– Поеду, меня звали уже давно, и я дал слово. Признаться по правде, мне что-то не хочется ехать. Какие-то предчувствия тяготят мою душу не к добру, меня они никогда не обманывали.

– Да там будет Лиза...

– Я очень этому рад. Я хочу полюбить эту Лизу. Она милая девушка, она стоит любви... а всё же мне не хочется ехать к Р..

– Я тебя не понимаю, ты мне кажешься странным, на твоём месте я бы полетел туда на крыльях любви и нетерпенья.

– Любви!.. о как разны значенья этого слова!

– Но разве ты не любишь Лизу?

– Я хочу её любить, потому что она меня любит! Я хочу... но кто же может сказать, что это сочувствие?.. Если бы ты знал, какая тяжесть, какой камень лежит на моей душе, как что-то давит мою грудь. О! ты постигнул бы тогда, какое я чувствую отвращение от этого бала, как мне не хочется ехать.

– Да отчего же? Нам будет весело, и ты проведёшь лишний час с братом, который скоро уедет, которому вчера дал слово. Да где же он? Упрекал тебя, что ты не хочешь быть с ним, а сам пропадает целыми днями.

– Не вини его, он не может <...> располагать своим временем, он должен побывать у старых товарищей. Да, кстати, о нём, не заметил ли ты, что со времени второго своего прихода он стал не тот, как прежде? Чего он часто задумывается? Этого прежде с ним не случалось. Всё: и речь его, и даже улыбка, носит какой-то отпечаток грусти, а грусть в его доброй душе ужасна. Она раздушит его, он не даст ей свободы, <не облегчит> всё признаньем.

– Мне кажется, что он влюблён, иной причины я не придумаю.

– Тебе, брат, всё одно <...>! Впрочем, ты, может быть, и прав, не знаю.

– 5 –

Было множество гостей у помещика Р..

Дом его со всех сторон был окружён садом густым, тенистым. Высокий балкон выдавался над пёстрым цветником, где алели розы, ярко рисовались гиацинты, белели лилии.

Сумерки уже омрачили окрестность и зажигали все окна дома многочисленными огнями. Хор музыки гремел в передней. В зале прохаживались гости, ожидая весёлого сигнала начать танцы.

Несколько дам и девиц всходили по крутой лестнице из сада на балкон.

– <...> Бурный! Вы меня просили на первую кадрили? – спросила одна девица, обращаясь к Владимиру, который стоял, опершись о балюстраду.

– Так точно, – отвечал он, – имел эту честь.

– А меня на котильон? – сказала Лиза Ельнева тихо.

– Просил и, если позволите, повторю мою просьбу.

Но эти слова были сказаны так отрывисто, с таким мрачным лицом, что девица вздрогнула. Не успели они войти в залу, как Бурный бросился в сад и начал ходить быстрыми шагами по аллеям. Он был необыкновенно мрачен, глубокие морщины избороздили нахмуренное чело, глаза сверкали молнией, дыханье рвалось ураганом, что-то ужасное готовилось в нём.

И вдруг грянули быстрые аккорды вальса.

Как мёртвой, услышав звук призывной трубы Страшного Суда, воспрянул Владимир... Стеснённый в груди его воздух вырвался протяжным вздохом, похожим на стон, две крупные слезы выкатились из глаз и скипели на вспыхнувших щеках... Он услышал давно знакомые, но забытые звуки...

– Этого ещё не доставало! – простонал он глухо и невольно побрел в залу. – Так то справедливо, что человек не может отдать себе отчёту в том, что влечёт его против воли иногда к гибели.

Когда Бурный вошёл, несколько пар кружились по гладкому паркету, и взоры его устремились за одну, впились в неё, следили все её движения, и там не было Лизы Ельневой!.. Со Знаменцевым вальсировала девица высокого роста, тонкая, стройная, как береговая линия полуденных стран, как пальма знойных пустынь Африки, с мягкими выющимися локонами вокруг алебастровых плеч.

Знаменцев кончил тур и подошёл к нему.

– Заметил ли ты даму, с которой я сейчас вальсировал? – сказал он.

– Заметил.

– Какое убийственное сходство! от роду не видывал я двух лиц так похожих. Родная сестра не может так выразить её черты... Ведь это вылитый портрет твоей Софьи...

– Молчи! Бога ради, молчи!.. Неужели ты думаешь, что я не видел, неужели нужно, чтобы ты говорил мне это? С самой минуты приезда это сходство убило меня. – И он отошёл как помешанный.

Пары стали в мазурке. Владимир с незнакомкою. Она была такова для него. Он не старался даже узнать, кто она и как её имя.

Разговор между ними был самый незначительный, самый пустой. Но вдруг глаза девицы наполнились каким-то чувством, как будто бы она долго его скрывала в душе своей, какое-то нежное сострадательное участие разлилось на всём её прекрасном лице.

– Как вы мрачны и задумчивы, – сказала она, – верьте, что мне очень больно быть невинною причиной вашей грусти. Ваш товарищ мне говорил, на кого я похожа.

– Вы знаете... вы знаете... так вам не удивительно моё положение. Вы можете судить. О! нет! вы не можете вообразить, и, дай Бог, чтобы вы никогда не узнали, что такое утратить всё блаженство жизни и вдруг так живо вспомнить всё... всё вместе убийственною мыслью, что это уже кончилось, что нет надежды! О! Это ужасно! Вы пожалеете обо мне...

– Если бы вы знали, как сильно растрогала меня ваша история! Ваш товарищ мне всё рассказал в нескольких словах, во время двух кадрилей, которые я с ним танцевала. Мне было больно слушать его. Я страдала за вас, я воображала ужасное ваше положение, когда вы узнали о её замужестве. Если это не есть нескромность с моей стороны, за кем она?

– За каким-то чиновником, который не стоит, как говорят, счастья взглянуть на неё. Я его не знаю.

– Как его фамилия?

– Писецкой.

– Ах! Проклятый Писецкой! Как я его ненавижу...

Бурный едва мог усидеть на стуле. Эти слова были сказаны совершенно голосом Софьи, с её выражением лица. Ему показалось, что сама Софья бранит того, кого обязана называть своим мужем.

– О! повторите ваши слова, – сказал он, – как ваш голос напоминает <её>, мне кажется, что я её саму вижу и слышу.

– Если это может доставить вам удовольствие, я готова бранить его, хоть не имею чести знать, – отвечала она с такой улыбкой, от которой Владимира кольнуло как ножом в сердце. Сама Софья не улыбнулась бы иначе. Тут сходство было убийственно.

– Бога ради, не улыбайтесь! – вскричал он, закрывая глаза рукою. – Это нестерпимо! Вы меня терзаете... Она! точно она передо мной!

Лиза подошла и выбрала его в фигуру.

– Когда бы эта мазурка скорей кончилась! – сказала она, поглядев с укором на него, – она мучительна.

– Да! мучительна, убийственна. Весь сегодняшний день убийственный! – отвечал он, подводя её к месту и отнимая холодную как лёд свою руку от её горячей ручки.

Следующая фигура свела его с модною графиней Г., племянницею, задушевною приятельницею Лизы.

– Когда вы кончите эту мазурку? – спросила она тоном, в котором <...> выражалась досада, – это нестерпимо так долго танцевать.

– Не знаю, я не в первой паре.

– Да я уже вижу, что вы просите первую пару делать побольше фигур, для вас очень приятна эта мазурка.. Постойте же, я вам отомщу!

И она сдержала своё слово.

Сделали фигуру, в которой должно было выбирать кавалерам даму, и вся сторона, где сидела графини Г. приятельница, была настроена беспрестанно выбирать Бурного и его даму. Потом другая фигура такого же рода была новым поприщем островам графини Г.. Бурный хорошо понимал, что это значит, но не обращал на то внимания, хотя внутреннее чувство бешенства порывало его придраться к кому-нибудь из кавалеров, исполнявших прихоти своих дам и поддерживающих их пошлые и злые шутки, но он владел собою и не позволял излиться своей вспыльчивости как обыкновенно.

– Пренебрегите всем этим, – говорил он своей даме, которая конфузилась и терялась при каждой новой злости жестоких подруг. – Это пустое мщение одной из этих девиц против меня, не знаю, за что все эти стрелы устремлены на меня. Я чувствую смертную охоту заставить кавалеров этих дам перестать и раскаяться в своём послушании, но удерживаюсь, потому что, во-первых, они этого не стоят, шутки их слишком глупы, а, во-вторых, я не хочу заводить историй и неприятностей в доме, где я хорошо знаком и радушно принят.

– Полно же сердиться, я, право, не досаую и прошу вас оставить их без внимания.

– Я и не намерен иначе поступить, и верьте, что их остроты на них же падут.

Мазурка кончилась, и Бурный вышел в сад. Как расшвирипевшее море бушевали в нём мысли, чувства – всё прежнее проснулось. Ему казалось, будто бы он только что разлучился с Софьей, вся прежняя страсть пылала с новой силой. Он мечтал, что забыл минувшее, он хотел любить вновь. Он думал, что новая привязанность заглушит навек прежнюю страсть, но как он горько ошибся, как ясно видел он теперь, что одна первая любовь истинна, что хотя бы и умел он рассеять себя, но малейший случай, напоминающий её, снова возвратит ей всю её власть.

Замечали ли вы когда-нибудь огонь потухшего костра, его не видно, он подёрнулся белою золой, но разверните эту золу, бросьте

туда малейшее горючее вещество, и пламя снова вспыхнет так же ярко, так же сильно, как и прежде.

В нравственном смысле первая любовь, по какому-либо случаю несчастная, есть огонь под золою рассеянный, горючие вещества – воспоминанья.

Иногда случайное сходство, звук, слово, как резкая черта, пробегают по сердцу, и мгновенно прежний мир с прежними чувствами, бурями, с переходами надежды и отчаянья является душе, так же очарователен, освещенный той же призмой заблуждений, как и бывало.

Так и для Бурного мгновенно развилось то, что спало уже три года в груди его, развилось с прежнею силой, как грозная чёрная туча застилает небосклон быстрым полётом.

Долго бродил Бурный по саду, не отходя от дому. Он был свободен несколько танцев, и ничто не влекло его в душную залу. Его прерывистому дыханью нужен был чистый воздух прекрасной ночи.

В окнах часто мелькали пары, и часто головка незнакомки рисовалась на широких стёклах. Вдали некоторые оттенки, показывающие наблюдателю разность между ею и Софьей, исчезли совершенно. Это была Софья, она сама...

Владимир не мог оторвать околдованного взора от этой картины. Всё бывшее счастье так ясно носилось перед ним, он был бы блажен, но горькая внезапная мысль, что всё это утрачено невосвратно, по временам разрывала его душу.

Наконец музыка замолкла. Он вошёл. Ужинали. Несмотря на все вежливости и просьбы хозяина и хозяйки, он едва мог принудить себя съесть что-нибудь для виду и чтобы не показаться слишком странным.

Постепенно гости снова вышли в залу, и по мановенью хозяина музыка – грянула котильон...

Как помешанный, едва зная, что он делает, подошёл Бурный к Лизе, давно прощенной на этот танец. Котильон был тот самый, который три года назад он танцевал в последний раз с Софьей!.. Молча сел он возле своей дамы.

И что оставалось ему с нею говорить? Обманывать он её не хотел, продолжая обращаться по-прежнему, а как же иначе? за что? Не будет ли она иметь тогда полного права подозревать его в ветрености, в любви к прежней девице.

Долго сидел он, потупя взоры, и далеко, далеко были его мысли. И вдруг он поднял голову, что представилось его взорам?

Рассветало. Небо было покрыто тонкими, серыми, однообразными облаками. Против него было отворено окно, и ветви растущего перед ним дерева колыхались от утреннего, предвосходного ветра тёмными пучками на бледном, беловатом плане рассвета.

Перед его глазами носился в вихре вальса образ, живой портрет Софьи, в ушах раздавались заунывные звуки знакомого сердцу котильона... Это было, слишком! Вся буря минувших страстей завывала, засвистала, заревела в его душе. Во рту у него стало сухо, руки застыли, холодный пот выступил на лице и градом покатился по бледным щекам, на коих зарделись красные, кровавые пятна.

– Я давно хочу вам сказать несколько слов, которые камнем лежат на моём сердце, – сказал он, судорожно шевеля губами, хриплым могильным голосом. Лиза печально улыбнулась. – Забудьте меня, я не могу вас любить.

Несколько слёз, как жемчужин, выкатились из глаз Лизы.

– Я самый несчастный человек. Я думал, что пожар души моей, что, любовь прежняя потухла, что я могу снова полюбить... но нет!.. теперь я себя понимаю.

– Зачем же вы меня обманывали?

– Я вас не обманывал! Я хотел вас любить... Я виновен, что сначала не разрушил ваших мыслей. Я сам себя обманывал... Я думал, что в этом сердце есть еще место для новых чувств... Но я ошибся... Она заполнена одним... одним!.. ничто не изгонит этого образа... он со мною ляжет в гроб!..

– Чем же я виновата?... за что же я так жестоко наказана?

– Вы наказаны!.. нет! Пусть я один буду страдать, вся моя жизнь посвящена на то... зачем же отнимать у судьбы её жертву... Я думал, я мечтал найти счастье в вашей любви... а сегодня... Это проклятое сходство разорвало навсегда завесу, не думаю, однако ж, чтобы я мог полюбить эту девицу... нет! Она для меня только портрет того, что я любил в продолжение пяти лет и что я уже три года как утратил. Взгляните на это растворённое окно, на эти колеблющиеся ветви, при этой сомнительной белизне рассвета, прислушайтесь к этим аккордам... Три года назад в подобном зале, при таких точно случайностях я последний раз говорил, танцевал с нею, клялся в вечной любви... но нет того уже. Я её более не видел... но свято сохраняю клятву мою, хотя она уже потеряна для меня безвозвратно. Нет! Я ошибался, я хотел всей душой обмануть себя. Но... но нет! не хочу вас обманывать... Я никогда не любил вас! не знаю, что это было за чувство, но я не любил вас! Любить можно только раз в жизни, и я

любил со всем неистовством, со всем бешенством неограниченной необузданной страсти... Мои чувства к вам были совсем не таковы. Они были тихи, нежны. Это скорей была дружба. Нет! Я никогда не любил вас!

Котильон кончился, и Бурный, не помня себя, был увезён домой братом и Знаменцевым под тонким дождём, как бы смывавшим восхождение кровавого шара солнца.

1836. Июль, 9

Чутуев

— 6 —

1836. Июль, 9

с. Артемьевское

Быстро пролетали дни. Неожиданным образом Бурный познакомился и стал вхож в дом, где жила Варенька — прекрасная незнакомка. Он не искал этого, то была игра слепого случая... И что ж Бурный? Трудно, очень трудно разгадать, что сбылось с ним. Он и радовался, и боялся всякой встречи с нею. Тогда каменные минуты его жизни исчезали. Когда он её видел, он был весел, тяжкое бремя обычной тоски спадало с его души, какая-то тихая, безмятежная радость снова посещала его. Зато как убийственны были те минуты, когда он с нею расставался. Ему казалось, будто бы он только что лишился своей Софьи, будто бы он вновь выстрадал всё то, что приструнило, убило в нём все чувства. Это состояние продолжалось после каждого свиданья несколько времени, а потом снова наставали тяжкие, бесстрастные, каменные дни.

— 7 —

1836. Июль, 10

с. Артемьевское

Задумчив и мрачен сидел Бурный на своей квартире. Он был один. Знаменцев проводил вечер у ротмистра. Всеслав давно уехал в свой полк. Он только что возвратился от Звездича, только что свёл глаза с портрета Софьи. Ещё каменные минуты не заняли обычного своего места в его душе, ещё она горела как в дни былые, как после разлуки, как в то мгновение, когда он навеки простился с радужными своими надеждами. Горько, горько было Бурному!

Не будучи в силах выдержать прилив всех этих чувств, один среди безмолвья ночи, он взял книгу и лёг на свою постель. Он хотел рассеяться, хотел читать, но лишь чёрные буквы на белых листах

представлялись его глазам, а далее не находили уже пути. Он ничего не понимал.

Промучившись напрасно целый час около одной страницы, Бурный с досадой бросил книгу, погасил свечу и закрыл глаза. Он стал забываться. Уши его наполнились какими-то неопределёнными, но гармоническими звуками. Под опущенными веками блеснул свет, сначала тёмный, дальний, беспорядочный – и вот ясный, ясный... Владимир переступил порог давно знакомого дома. Он в ярко освещённой зале, среди громких аккордов той музыки, которая всегда находила отголосок в его сердце. Перед ним пестреет толпа. Ах! Он опять перенёсся туда, где был некогда его земной рай, и куда он часто, часто летал на крыльях сновиденья!..

Молча стал Бурный в отдалённом углу, сложив руки на грудь, как будто бы хотел удержать сердце, стремившееся вырваться... Что-то чудное, непонятное делалось с ним. Он кого-то ждал и вместе страшился своего ожидания... Долго, долго мутные взоры его тонули в пустом для сердца пространстве без цели, не отражая ничего... И вдруг в их зеркале сверкнул луч, туман бесчувственности омылся крупною слезой, задрожавшей на яркой поверхности, слезой, окрашенной нежным пурпуром душевного рассвета, но вместе освещённой багровой молнией моральной грозы.

К нему подошла Софья. Как ясный луч незабвеннейшего воспоминанья, как в сердце страдальца минутный блеск надежды, как в прекрасный летний вечер дальний звон призывного колокола сельской церкви для души христианина – так предстала ему она.

Но он знал, что она для него невозвратна, он видел приговор судьбы на сопечальном прекрасном лице. Обручальное кольцо змеилось молнией в его глазах, расстиралось чёрною тучею на чистой лазури мгновенно просветлевшей души...

Софья была не одна!

Казалось, воздух каким-то волшебством возле неё облекался в её формы, отражал её лицо, её стан, её улыбку, как в тихий вечер лазурное небо с зеленеющими тополями Украины глядится, рисуясь, в зеркале прозрачных вод, когда ветерок простился с их гладкою поверхностью.

Софья держала за руку Вареньку!

– Владимир! – сказала она тем голосом и с тою улыбкою, коим всегда было доступно его сердце, и которые чародейственно укрощали самые бурные порывы его страстей. – Владимир! мы много страдали оба, хотя дальнейшее пространство разделяло нас... Но время

утешенья настало. Мужайся, друг!.. Небо сжалилось над нами – оно шлёт конец горести. Знаешь ли, Владимир! Я много, много молилась, лила горячие слёзы, прося Всевышнего даровать тебе счастье, утешить страждущую душу. С этим неразлучно условие моего собственного спокойствия. Без того нет и для меня отрады!.. Наши души слишком тесно соединились давно, очень давно, чтобы я могла иметь ясные минуты, когда твоя судьба заросла терньем. Хотя мы далеко друг от друга, но я знаю, что ты чувствуешь. Ведь мы живём одним духом, мы чувствуем одним сердцем, мы плачем одними слезами. Наша участь никогда не может быть разделена. Ты можешь судить, каково для меня твоё беспрестанное горе. Как тяжело ложатся на моё сердце твои каменные минуты, минуты убийственные для нас обоих... Но это скоро должно кончиться. Владимир! Ты должен вновь узнать те святые радости, как бывало. Ты снова просветлеешь душой, и я буду счастлива! Взгляни! Не живой ли это мой образ? Не мои ли черты? Не мой ли голос? Да я сама не нахожу никакой разницы! Владимир, и душа у неё тоже моя, но та, которую ещё не омрачило горе, не разбило несчастье!.. Да! Друг мой! Вот утешенье, которое я выстрадала, вымолила у Неба!.. Смотри на неё! Владимир! Владимир! люби её, люби, как некогда любил меня. И я тоже буду счастлива твоим счастьем. Ты меня не забудешь, нет! Я знаю, что это невозможно, но ты будешь меня любить в ней с прежнею страстью, с прежнею радостью!.. Пусть наши образы сольются в твоём сердце! Это так легко! Она – вторая я. Дай руку, безумный друг! Пусть я снова буду виновницей твоего счастья.

И она положила его руку в руку Вареньки.

– Пора, полно тебе спать! Уже 10 часов, – сказал Знаменцев, толкнув его.

– Эка разоспался! Да ты никак вчера гулял, что ли? Полюбуйся, и не раздевался. Как был ввечеру в халате, так и проспал всю ночь!

Бурный проснулся, но долго не мог собрать своих мыслей и привести их в порядок. Ему было грустно, очень грустно, с давних пор не был он в таком расположении. Сны, в самом деле, страшная вещь! Как иногда они тревожат дух человека.

– 8 –

1836. Ноябрь, 10

Печенеги

– Нет! он меня не любит!.., он будет смеяться надо мной!.., он будет смеяться над страстью бедной девушки, слишком доверчивой... О! Владимир! О, друг мой! Я буду проклинать тебя!

– За что же, моя Варенька! за что проклинать того, который любит тебя больше жизни?

Так говорили Бурный и Варенька, сидя в дальней комнате на диване, вдвоём с глазу на глаз. Она сидела почти у него на коленях и, опрокинувшись назад, склонилась на грудь его и вперила в него < > невинные взоры. Он обнял её обеими руками, скрестя их вокруг тонкой гибкой талии. При последних словах он наклонился к ней, и она примкнула розовыми губками к его устам.

– Скажи, Володя, любишь ли ты меня хоть вполтину столько, сколько свою Софью.

– Я не разделяю вас в своём сердце – ты и Софья, Софья и ты – это одно и то же существо. Любя тебя, я люблю Софью и горжусь моей любовью! Скажу правду, я не полюбил бы тебя, если бы ты не была её портретом. Я люблю тебя по её приказанию, разве ты забыла тот таинственный сон, который я тебе рассказывал, в котором она явилась мне с тобою вместе и велела любить тебя? Разве ты не знаешь, что от этого зависит и её счастье на этом свете? А там, в вечности, вы обе сольётесь в одну душу, в одно существо, и я буду вас любить вместе, буду любить одну – идеал моей молодости, собственную мою душу!

И он опять прижал её к груди, и опять уста их соединились в долгом, долгом поцелуе... Но эти поцелуи были так чисты, так непорочны! Никакая земная мысль не осквернила их. Это были две души, которые стремились одна к другой, которые хотели слиться в этих поцелуях.

Сильно волновалась грудь девицы, глаза её так нежно, так выразительно смотрели на Бурного, в них блистала сквозь лёгкий туман слёз счастья целая вечность любви, неисчерпаемый источник привязанности, верности до гроба.

– Варенька! долго ты будешь меня любить?

– Владимир! Я полюбила в первый и в последний раз! Я твоя до гроба и за гробом!

– Не верь, душа моя! ты теперь так думаешь, ты молода, неопытна, это твоя первая любовь. Я же знаю женщин лучше, нежели ты. Поверь мне, моя милочка! Придёт время, и ты меня забудешь, как забыла любиться с игрушками своего детства!

Слова Бурного были мрачны, лоб его наморщился. Этот человек столько испытал несчастья, что не смел увериться в своём благополучии. Он боялся слишком увлечься привычкой счастья,

чтобы потом разочарование не убило его. Увы! Он ждал его, ждал, как преступник казни.

– О, Варенька! О, Софья! Я знаю, что мне суждено, поверь, что я не перенесу повторенья того, что уже раз было, и моя закалённая муками душа, как пережжённая сталь, разобьётся!

– 9 –

1836. Ноябрь, 26

– Так! Я люблю её, я боготворю её! Я так счастлив её любовью. Весь прежний мир зацвёл снова для меня и зацвёл прелестнее, заманчивее, нежели когда-нибудь!.. Да, это моя судьба, и я благословляю её. Она меня любит, притворяться она не умеет, да и нечего. Это порывы невинного, неопытного, чистого сердца, которое беспрепятственно предаётся влекущей его силе!.. Сколько сокровищ счастья в этом сердце! Сколько будущности! Сколько светлых, прелестных дней!.. О! она будет моей! ничто не разлучит нас! Со дня, когда я сказал ей «люблю», участь моя решена. Я испытал себя, я до гроба не перестану любить её! Да может ли быть иначе? Разве это не моя Софья? Разве не она сама мне даровала её? Разве я перестал любить Софью, предаваясь Вареньке? Софья и Варенька – это одна женщина, и она душа, моя душа, моя жизнь, моё земное счастье!

Так думал Бурный, сидя на своей квартире и глядя на синюю даль, где воображался ему приют той, к которой стремилась душа. Эта душа, вновь издававшая стройные, пленительные звуки, душа, пробуждённая счастьем... но для счастья ли?..

Для таких ли характеров создано счастье? И может ли этот человек, так долго гонимый судьбой, так озлобленный против неё, так недоверчивый, может ли он быть спокоен? Быть счастливым? Чудный вопрос, который нелегко разрешить.

Любовь, и любовь прежняя, первая любовь волнует это сердце, царствует в нём самовластно, и вдруг, как ядовитая змея лесов Америки, как червь сырой могилы – подозренье, недоверчивость впиваются в это сердце, столько раз обманутое судьбою, людьми...

– Она дитя, – думает он опять, – она неопытна! Мудрено ли, что её любовь игрушка, мудрено ли, что она пройдёт? Она меня разлюбит!.. О! Эта мысль ужасна!.. Она будет несчастна со мной!.. Она полюбит другого!.. Нет! Это страшно! Этого нельзя вообразить!.. И тогда наше будущее убито! И тогда мы оба погибли!.. Я знаю себя! Жена моя принадлежит мне исключительно, а если её сердце

забьётся для другого... тогда оно перестанет биться – навсегда!.. Я убью её!

И он стал ходить большими шагами по маленькой своей комнате, и глаза его дико сверкали, уста невольно сжимались, руки сводились судорогою.

– Нет! я не поступил безрассудно! Я играл слишком большую игру, чтобы всё поставить на одну карту!.. Тут больше, чем одна жизнь. Тут две жизни, и тут вечность. Я должен, я обязан благо-разумьем, совестью, честью... Я испытаю её!

Он сел устало и сильно сжал голову руками. Любовь противилась, сердце вопияло против этого средства, но неизвестный голос звал его, что-то говорило ему: если она выйдет с торжеством из этого испытания – сколько счастья впереди!.. Недоверчивость должна будет навсегда оставить его, недоверчивость – лютейший тиран его души!

– Да! она восторжествует! – вскричал он, вскакивая. – Она одарена сильным характером!.. О! как я буду счастлив!.. Неправда ли, ты выдержишь испытание? Моя Варенька, моя Софья!.. Ты заставишь меня считать себя чем-то необыкновенным? Ты меня любишь, а любовь делает чудеса!.. не только не изменится от какой-либо малости! Не бойся, Ангел мой! Я не стану тебя мучить, я не стану требовать невозможного!.. О! да! ты выдержишь, не правда ли?..

Эта уверенность успокоила его, и он стал думать о средствах, как привести свой план в действие.

– Да! Этот человек точно то, что мне нужно! Он любезен, мечтателен, он говорит хорошо!.. Именно! К тому же я <...> не сделаю ему вреда. Я ненадолго нарушу его спокойствие. Он так ветрен, так непостоянен... Давно ли было, что не смей сказать дурного слова про графиню Г.? Давно ли все листки его дневника наполнялись стихами в честь её, а теперь и сам смеётся над нею и над собой? Да!.. Я и забыл, против него я решительно не буду виноват, половина уже сделана. Не сам ли он мне <почти> признавался, что теперь влюблён в мою Вареньку! А что ж мудрёного и влюбиться в неё? Скорее не влюбиться было бы странно. Эй! быть по сему! Я обману тебя, добрый мой старый товарищ! Но ты после простишь мне, ты будешь радоваться моему счастью, и тем более, что ты послужишь мне орудием к достижению его!.. Любовь твоя к ней прихоть и так же скоро пройдёт, как и любовь к графине и к стольким прежде её. Ты молод, ты ветрен, ты поэт!.. Любовь же тебе нужна как воздух, и ты, не зная этого, поможешь мне, которому до сих пор любовь доставляла одно

мученье!.. Но почему ж бы мне не открыться ему? Почему бы не просить его помощи? Нет! он не согласится. Он скажет, что не хочет обманывать той, которую любит, он будет уверен, что это слишком для него больно. Наконец, если бы я стал настаивать, он будет просить пощады, да и какая уж от него помощь? Нет, не скажу ему ничего. Пусть будет он моим слепым орудием, а тогда моё счастье <вместе> и откроет ему глаза, и будет ходатайствовать за меня, не просить прощенья за мой поступок, может быть, не совсем хороший. Жребий брошен. Я исполню своё намеренье!

Через несколько времени вошёл Знаменцев, ходивший к одному из офицеров. Бурный сел в углу, поникнув головой и боясь встретить взгляд своего товарища.

– Ну что, когда же ты пойдёшь к Звездичу? – спросил Знаменцев, набивая трубку, – ты что-то давно уже не был.

– Не хочется, братец! – отвечал Бурный с притворным равнодушием, очень удачно сыгранным. – Что там делать? Боюсь наскучить добрым хозяевам.

– Этого страха прежде в тебе не было. Давно ли ты проживал там по несколько недель?

– Тогда было одно время, а теперь другое. Тогда меня туда влекло, а теперь нет.

– Как? что ты хочешь сказать?..

– То, что я прежде думал, будто я люблю Вареньку, а теперь не думаю.

– Как? так ты её не любишь?

– Нет, братец, да и куда мне любить? Я своё отжил, и теперь, если моё сердце и отзовётся, то это только вспышка, которая так же и погаснет, как и вспыхнет. А для любви я не способен. Я тебе говорил, что я своё отжил.

– Как же тебе не грех было завлекать милую девицу с тем, чтобы бросить её, когда она тебя любит?..

– Кто тебе сказал, что она меня любит? Любила – так, а теперь мы друг к другу стали равнодушны, по крайней мере, мне так кажется... О! как бы я был благодарен тому, кто успел бы тронуть её сердце и уверить через то меня, что я против неё не виновен ни в чём!

– Это ужасно!..

– А знаешь ли, Александр? Мне кажется, что ты, именно ты назначен судьбой, чтобы оказать мне эту услугу.

– Я?.. что ты? да как же это?

– Ведь ты мне признавался, что ты влюблён в неё.

– Быть может... но что же дальше?... Для себя я тут ничего не вижу, кроме собственного моего несчастья...

– Полно блажить! А вот что, ты веришь сродству душ, ты веришь, что сердца, настроенные на один лад, могут отзываться друг другу? Теперь я тебе скажу, мне кажется, что Варенька к тебе равнодушна.

– Кто это тебе сказал? Откуда такая мысль?..

– Она сама мне говорила о расположении к тебе (это было прежде, Варенька точно предпочитала Знаменцева всем прочим знакомым офицерам), слова, конечно, очень обыкновенны, но тон, но голос. Ну! Я тебе говорю, что она к тебе равнодушна.

Знаменцев молчал и дурно скрывал улыбку.

– Теперь ещё скажу тебе, – продолжил Бурный, – что я не люблю её и не имею на неё никаких притязаний. Делай что знаешь.

– 10 –

1837. Январь

Два месяца прошло с тех пор, как мысль испытать Вареньку родилась в голове Бурного. Он собственными глазами хотел следить за успехами своего замысла и под предлогом Рождественских святок провёл почти целый месяц в доме Звездича, куда очень часто, через день, наведывался Знаменцев. Как не было ему тяжело, однако ж, он сам рассказал Вареньке о страсти к ней своего товарища, зная, что у Знаменцева не достанет духу и намекнуть о том. Он старался доставлять им случай быть вместе и пускаться в длинные разговоры. Было ли это хорошо с его стороны? Не знаю, я не берусь судить о том, что бы сам сделал.

Варенька, казалось, не замечала ничего и обращалась с Бурным по-прежнему, только мало-помалу она реже искала случая быть с ним наедине, а чем дальше, она даже избегала этого.

Как червь ненасытный запала тоска в душу Бурного. Сомнения толпою налетели на него. Несколько раз он хотел оставить своё намеренье, рассказать всё Вареньке, вымолить прощенье за недоверчивость, открыться Звездичу и просить руки её. Но какой-то злой дух, дух недоверчивости и вместе самонадеянности шептал ему, чтобы он продолжал и дождался назначенного им прежде срока. И Бурный молчал, а Варенька всё более и более отдалялась от него.

О! Как ужасно сомненье! Как терзает оно душу несчастного. Пусть лучше я буду жертвою доверчивости, пусть меня обманут, пусть одурачат, осмеют... И всё это легче перенести, нежели одну

ночь сомнений, один день этой ужасной неизвестности!.. Но не так думал Бурный и глубже вонзал острое лезвие в свою душу.

– Вы меня не любите, Варенька! – говорил он однажды ей, когда случай неожиданно свёл их опять в заветном кабинете, уже в их разговор снова вкралось это натянутое, ненавистное «вы», – вы меня не любите!..

– Нет, это вы, Владимир! – отвечала она, – вы меня обманывали!.. вы хотели посмеяться надо мной!

– После этого я удивляюсь, что с таким обо мне мнением вы ещё решаетесь марать себя, говоря с ...

«С низким человеком», – хотел он сказать, и, не договорив, вышел в залу.

– Она ко мне придирается, она хочет, чтобы я был виновен. Она этим думает успокоить собственную совесть... О! Варенька! если бы ты знала, сколько любви, сколько преданности в этом сердце, которое ты отвергаешь!

И он ходил по зале мрачный и угрюмый, как осуждённый на смерть. Разве это не было для него смерть? Разве мученье неизвестности не стоит одной минуты, после которой всё кончается?

В другой раз (Знаменцева не было у Звездича) счастье будто снова улыбнулось Бурному. Он долго говорил с Варенькой наедине, он представил ей столь убедительные доказательства, что она его обижает своими подозрениями, что она обняла его и с прежним чувством, посмотрев ему в глаза, сказала: «Можно ли не поверить ему, когда он захочет в чём-нибудь убедить?»

И снова Бурный был счастлив, и снова он мечтал о любви, об удаче своего испытания, о счастливой будущности, которая мгновенно озарилась светом надежды. И он был счастлив!.. Он думал о своём небольшом состоянии, которое было достаточно для благополучья поверженного к ногам Вареньки.

Однажды, не бив целую неделю у Звездича, Бурный собрался ехать и брился, сидя у окна своей маленькой квартиры. Вдруг дверь отворилась, пахнув сильным январским морозом, и Знаменцев вошёл. Он приехал от Звездича.

– Здорово, – сказал он, – а мне сказано, будто у нас сегодня смотр, и я, встав до свету, прискакал сломя голову.

– Тебя надули, – отвечал Бурный, – смотря никакого нет. Я сам собирался сегодня к Звездичу. Я уж давно не был там. Ну что, здоровы ли все?

– Слава Богу. Тебе кланяются.

– Спасибо, что не забывают. Ну! а кстати: мы давно об этом не говорили. Скажи-ка откровенно, каковы твои дела?

Молния радости сверкнула на лице Знаменцева, и Бурный, обращённый к нему спиной, увидел её в зеркале. Как будто железная рука сжала его сердце, но он скрепился и весело продолжал.

– Ну, ну! говори! что тут таиться! Признайся-ка, чтобы и я разделил твою радость или горе, ведь ты знаешь, что мне она совершенно ничего... говори же скорей!

– Я счастлив! – прошептал сладким голосом Знаменцев, и бритва запрыгала в руке Бурного, и лицо его в зеркале пошло кругом. Сердце страшно билось. Однако он выдержал характер.

– Поздравляю! только, брат, смотри не обожгись! на эти вещи надо смотреть беспристрастными глазами, а то ошибёшься и примешь одно слово за другое...

Несчастный! он хватался за всё, что могло поддержать его надежду хоть на одну минуту, как утопающий хватается за плывущую тростинку.

– Нет! я не ошибаюсь, – продолжал Знаменцев с восторженным лицом, – я уверен, я знаю, что я любим. Мы поняли друг друга.

Мы поняли! и это говорит другой, соединяя себя с нею. И кому же? Тому, кто ею дышит, кто ещё недавно упивался её поцелуями, слышал её клятвы, на которых основывал всё своё благополучье!.. О! это ужасно.

– А давно ли началось ваше счастье? – спросил он опять, – да полно! не скрытничай же, больше признаёшься – остаётся меньше.

– Не могу определить наверное, только я узнал, что она меня любит, на святках...

Этого только недоставало! Итак, она коварная, она солгала, солгала в своих чувствах!.. Она обманывала его, она притворялась, она давала клятвы, когда уж сердце её изменило, когда она предалась другому!.. И верьте же после этого женским клятвам!

Этот удар был слишком силен для Бурного, он разбил его сердце, он потряс его мозг. Бритва была в его руках, один взмах – и всё бы кончилось.

– Нет, – подумал он, кладя её на стол, – ещё рано, я должен изобличить её... Я должен увериться в её коварстве, чтобы гнущаться ею... а может быть... – И оттолкнул мысль, шепнувшую ему: может быть, Знаменцев лжёт?..

Но лицо Бурного не изменилось, оно улыбалось в то время, как весь ад ревел и завывал в груди его!

– 11 –

1837. Январь

– Скажите мне, за что между нами возникло такое неудовольствие? Что я вам сделал? За что вы на меня сердитесь? – говорил Бурный прелестной Вареньке, заманив её хитростью в кабинет. Голос его был нежен, увлекателен, он, казалось, просил милости, а всё тело его дрожало как бы в лихорадке.

– Я на вас не сержусь, вы мне ничего не сделали, – отвечала она.

– Нет! Я вижу... если я что-нибудь нечаянно сделал против вас, простите мне!.. – И он судорожно дергал струны гитары, попавшейся ему под руку.

– Право нет!.. Я ничего не знаю. Я на вас не сержусь...

– Итак, мир? неправда ли мир, моя радость!.., нет никакой перемены?..

– Я на вас не сержусь.

– И перемены нет?.. Вы всё по-прежнему... всё та же Варенька?..

– И он взял её руку, и она не отнимала её, и она тихо пожала его руку...

– Я всё та же, что и была прежде...

– Вы лжёте, притворщица! – вскричал Бурный, отрывая свою руку и выпрямляясь. О! как он был велик перед нею!

– Что это значит?.. что за переход?.. – спросила она обиженным голосом.

– Молчите! – продолжил он шёпотом, но этот шёпот был ужасен!

– Молчите! если вы крикните, если скажете одно слово, вы сами себя губите!.. Вы в моих руках!.. О! вы думали, что меня можно обманывать!.. Вы думали, что моя слепая любовь не видит ничего!.. Взгляните!.. О! как я, я обманутый, как высоко стою я перед вами. А вы упали в грязь! Вы так теперь низки передо мною!..

– Как вы можете говорить мне такие вещи?..

– Довольно! ступайте теперь, жалуйтесь на меня, но вы не осмелитесь!

И он вышел в залу, он стоял прямо и смотрел всем в глаза. На лицо его наделась страшная маска – веселость!.. Варенька <исчезла> из кабинета.

Что оставалось Бурному? Он сделал своё, изобличил обманщицу и сказал ей, что у него было на душе. Но он не был доволен. Страшная мысль зародилась в этой растерзанной груди. Мщение!.. Да, он хотел мстить и мстить ужасно!.. Вся будущность её была в его

руках, и одним словом он мог её уничтожить и мог сравнять её с самыми презренными кокетками, её, которая так высоко ставила себя над всеми. Он мог объявить всё Звездичам, и тогда горе разостлало бы свои крылья над этим домом рукою Вареньки. Звездич был горяч и захотел бы наказать его, а тогда или смерть, или ссылка ожидали его, а сиротство – его семейство. И потом, Бурному стоило только сказать одно слово в полку о Вареньке, и все бы стали говорить о ней, кричать об успехах Бурного, а тогда всему конец – девушка, про которую кричат, теряет своё доброе имя, а с ним всё.

Вот что было в руках отчаянного Бурного, и жажда мщенья заглушила в нём всё. Чтобы употребить свои средства, надобно было сделаться бесчестным человеком!.. Он знал это, и он готов был попать ногою честь, совесть, религию!.. Да! Бурный готов был сделаться бесчестным человеком!.. До чего не доводят страсти.

Эта мысль была мгновенна. Он с ужасом отскочил от неё... И снова заговорило сердце, снова он стал тем же, чем был в течение двадцати четырёх лет.

Прощенье!.., сколько чувства, сколько прелести, сколько силы, сколько геройства в этом слове!.. Оно также высоко стоит над мщением, как небо над землею!.. Да! прощенье – вот мысль, которая остановилась в душе Бурного, изгнала всё прочее.

– Я прощу её, – думал он, – я не буду её наказывать!.. Нет! Я расскажу всё Звездичам, но расскажу так, чтобы я один остался виновен, чтобы все обрушилось на меня. Я пожертвую собой. Она мне дороже жизни!.. О! пусть придёт она, пусть я открою ей это сердце, и тогда всё кончится!..

И она пришла, и она ещё хотела оправдываться!.. Но он объявил холодно и решительно, что если ей угодно слушать его, чтобы она не перебивала, и преступница умолкла, и он высказал ей всё – и свои намеренья, и испытанья, и оскорблённую любовь, и мщение – и, наконец, отрёкся от всего, дал клятву спасти её... Он простил!..

При первом случае, тот же вечер он рассказал всё Звездичам, но уверил их, что, хотя он и видел любовь к себе в глазах её, в поступках, но никогда не говорил ей о том и не брал с неё никакого обещанья.

Добрые, благородные люди удивлялись странности его поведения, винили его в неблагоразумии требовать от девицы постоянства, не говоря ей о любви и стараясь показать противное. И, наконец, спросили, не знает ли он причины перемены?

– Не знаю никакой! – отвечал он, – вы правы, я один виновен в моём несчастьи. Я виновен тем, что мои понятия не похожи на понятия света... Я хотел привязанности беспредельной, потому что сам отдался беспредельно!.. Я виновен!

Опять Бурный стал спокоен, и этот покой мог всякого обмануть... но как далёк был он от души его! Он решил, и потому уже не было в нём волнения. Он решился умереть.

Самоубийство страшный грех! Он это знал, но он знал и то, что он утратил всё и в этой жизни, и в будущей. Душа его бунтовалась против этого удара судьбы, она не могла выдержать его! Да не говорил ли он ей в лучшие дни, что не перенесёт повторенья своей участи?

Твердо решившись, он уже не смотрел ни на приличья, ни на что. Они были уже не для него, а драгоценного времени он не мог тратить. Его часы были годы! Он подошёл к ней там, где встретил.

– Выслушайте последние слова, которые я вам скажу, – сказал он тихо, наклонясь к ней, и сердце его облилось кровью, он вспомнил минувшее, когда нашёптывал ей слова любви. – Я не хочу расставаться с вами врагом. Я принёс вам слова мира и дружелюбия.

– Я не имею против вас ничего, – отвечала она, не поднимая глаз от своей работы, – и если моя дружба...

– Она мне не нужна, как и все дружбы на свете. Вы видите перед собою человека, который через несколько часов будет труп.

– Что это значит?.. – и она подняла голову, и глаза её блистали от страха.

– Завтра я убью себя... Я не могу жить, вы отравили ядом всё моё бытие!.. Но я не клянусь вас, потому что люблю. Я вам ещё раз прощаю... пусть кровь моя падёт на мою голову!..

– О! это ужасно!.. – и она ушла от него.

Через полчаса Бурный уехал домой, завернувшись в шинель, и думал о своем отце и о брате.

– 12–

1837. Январь

Пасмурный зимний день клонился к вечеру, когда Бурный вошёл в свою квартиру и сбросил покрытую снегом шинель.

– Принеси сюда мои пистолеты! – сказал он мальчику. – Я буду их чистить.

И он сел молча в углу, и голова опустилась на грудь. Было пять часов, а перед ним двенадцать, назначенные для распоряженья делами и для писем к близким.

Он думал! О! кто мог бы тогда отдать отчёт в его мыслях? кто мог бы вникнуть в эту душу спокойную от того, что в ней уже не стало чем страдать, кто рассмотрел бы это сердце, которое перестало биться?... Как чудны, непостижимы представлялись ему эти полсоток, которые он ещё должен был прожить на свете... а этот свет... о! он сгубил его, сгубил и тело, и душу!..

Принесли пистолеты и положили перед ним на столе. С какою дикой радостью, с какою любовью смотрел он на гранёные стволы!.. В них он видел и друга, и семью, и жену... Он видел её!.. О! как тогда снова забилося его сердце... как он ждал роковой минуты! Как тягостен был ему этот серый, сумрачный свет!.. И он решился приняться за дело – написать свои письма.

Машинально отворил он ящик стола, и что же поразило его взоры?... Знакомый почерк – письмо от брата, от Всеслава!.. С нетерпением сорвал он печать, читает и не верит собственным глазам!

Всеслав признавался ему в любви к одной прекрасной девице, которой Владимир вовсе не знал, говорил о своей страсти так пламенно, так высоко, что брат не знал, верить ли ему или считать всё это за сон.

Всеслав говорил о малой надежде на счастье – состоянье его было так ограничено!..

– Здесь мне не с кем и говорить о ней, – так он кончал, – впрочем, мне к этому не привыкать, я и так целый год молчал, но тогда, по крайней мере, я её мог видеть, а теперь, когда-то придётся взглянуть!.. Одна надежда на тебя!.. Поезжай в ***, познакомься с нею и уведошь меня, здорова ли она, что делает и помнит ли меня. Верь, что я умею ценить всё, что ты для меня делаешь.

– А я ничего для тебя не делаю! – вскричал Владимир. – О! мой брат! мой Всеслав!.. неужели рука судьбы будет нас обоих гнать равно?... Нет! Ты достоин лучшей участи!.. О! мой бедный брат!..

И вдруг слёзы в три ручья хлынули из глаз его, и ему стало легче... перед ним блеснула заря, и опять вдали он увидел брата, товарища своего детства, одного друга на земле!.. О! он горько заплакал. Пистолеты сверкнули в его глазах.

– Гей! Кто-нибудь! – вскричал он, – возьмите пистолеты и спрячьте их куда-нибудь!

Нет! уже он не мог умереть!.. В руках его была целая будущность. Он должен был жить для брата, и умысел его показался ему гнусен...

– Неужели я мог забыть тебя, о! мой добрый брат! и тебя, мой старый отец?.. О! простите мне!., простите! Великий Боже! сжался надо мною!

Теперь один брат занял его сердце, один он завладел исключительно всеми его мыслями.

– Да! ты будешь счастлив, Всеслав! – сказал он, – ты должен быть счастлив!.. Пусть я один выстрадал за всё это несчастное семейство. Но ты будешь счастлив! Ты будешь иметь достаток! Да! Я, я сделаю твоё благополучье! И у меня есть часть имения равная твоей, я отдам её тебе, у тебя будет вдвое, и тогда уже не найдётся препятствия! Но ты не хочешь!.. Я это знаю, я это вижу... О! Всеслав! На коленях умоляю тебя, не откажи мне в этом! Ты должен принять эту малость от меня! Разве я не принял более? Ты сегодня спас мне жизнь! Я взял её как подарок, возьми же и мой подарок, больше не могу дать!.. Слушай клятву, о, далекий мой брат! С этой минуты вся жизнь моя посвящена тебе, твоему счастью!.. Да! Ты не откажешь мне! На что мне?.. Она отвергла меня! Неужели и ты будешь так жесток? Мне ничего не надобно! Я служу, и я одинок – вечно одинок!.. А когда придёт старость, или меня изувечат, я приду к тебе, к твоей жене, и вы же меня не выгоните, вы не откажете в насущном хлебе и в покое!.. Я буду нянчить твоих детей, буду их голубить, и они полюбят старого дядю! О! Всеслав, не лиши меня этого счастья, одного возможного для меня!..

Он упал на постель, рыдая, сердце его сильно билось, но отчаянье было уже далеко! Всемогущий сжалился над ним и послал ему кроткий сон, который вкушает только чистая совесть!